

Память

Булат Окуджава и "Вечерний клуб"



"Я смотрю на фотокарточку..."

Булат Окуджава после дружеской вечеринки с журналистами "Вечернего клуба". Он приехал к нам, в маленькое кафе на Лесной улице, вместе с женой Олей и американкой, изучающей русскую литературу. Ее имя сейчас забылось, но все остальное запомнилось навсегда, как и все встречи с Булатом Шалвовичем. Тогда он пришел без гитары, и мы просто разговаривали за столом с немудреной закуской и — сейчас можно признаться! — пузатым стеклянным графином с разведенным спиртом "Ройаль", время было нелегкое, на водку денег не хватило.

каждой эпохи свои подростки леса".

...К Булату Шалвовичу мы приехали, чтобы попросить его согласия стать членом Общественного совета "Вечернего клуба". Надо ли говорить, как его поддержка была важна тогда еще полугодовой, мало кому известной газете! В нашей "обойме" уже были Юрий Нагибин, Александр Борщаговский, Никита Богословский, Юрий Никулин... Но даже само имя — Булат Окуджава!

Первый приятный сюрприз оказался в том, что Булат Шалвович уже знал про нашу газету.

вович в "Вечернем клубе" полгода спустя, в августе 92-го:

"Когда я слышу нападки на правительство, то хорошо понимаю, что оно не готово к деятельности в катастрофической ситуации. А кто готов?.. Но по натуре я оптимист. Правда, мой оптимизм, если можно так выразиться, всегда продлен по времени. Поэтому я не надеюсь, что увижу, сорву плоды нашей свободы. Я мечтаю хотя бы увидеть, ощутить конкретную тенденцию к ней. А плоды даже не моему сыну — внукам, наверное..."

В тот первый наш приезд к Окуджаве в Переделкино он был на даче один, без жены. Но тем не менее не позволил уехать нам без угощения. Сам хлопотал, сам накрывал на стол. Выпив по рюмке, скрепили начавшееся содружество.

Надо сказать, мы старались не перегружать Булату Шалвовичу как члена Общественного совета "БК" — учитывали и его занятость, и состояние здоровья. Но на все наши просьбы он всегда откликался — периодически выступал в газете, бывал на редакционных мероприятиях, никогда не отказывал в совете.

Даже вот такая деталь. В январе 93-го готовился очередной бал прессы. И там должен был быть аукцион — каждая редакция выставляла на него свои "лоты". Наша газета не из самых богатых. Но подарок для аукциона мы подготовили, помоему, царский — пластинку новых песен Окуджавы с его автографом. Когда попросили об этом Булату Шалвовичу, он усмехнулся: "Вот и я пошел в лотка", но надписал на конверте все-таки сделал: "Победителю аукциона на балу прессы в ночь с 15 на 16 января 1993 г. Сердечно, Б. Окуджава".

Аукцион почему-то не состоялся. И теперь эта реликвия навсегда останется в редакции. Останутся в памяти его песни, его книги, останутся в памяти встречи с ним. И останутся эти строки:

"Я настороженно отношусь к патристической идеологии, потому что у нас не умеют отделять Родину от государства. Любить государство невозможно — ему надо платить налоги, оно должно нас защищать, и только. А о любви к Родине говорить неприлично, человек ее любит, если не может без нее жить, а если он разглаживает о своей любви — это подозрительно"

Последние строки, опубликованные Булатом Окуджавой в "Вечернем клубе"... Это было в конце марта этого несчастливой года.

Валерий ЕВСЕЕВ, главный редактор "БК".

Булат Шалвович уже стоял на крылечке маленького дома, ожидая гостей...

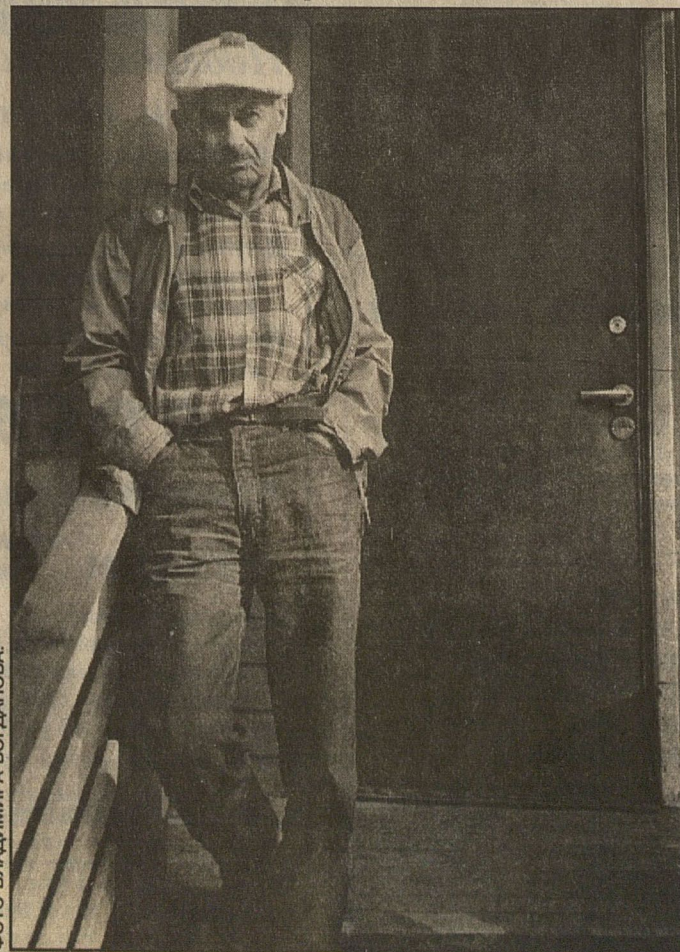


ФОТО ВЛАДИМИРА БОГДАНОВА

После традиционного обмена тостами ("Давайте говорить друг другу комплименты...") мы, конечно, запели. И, конечно, песни Окуджавы. А он сам, сидя в углу, улыбался и подпевал только губами.

Потом были и другие, уже в более презентабельной обстановке, встречи по разным редакционным поводам. Булат Шалвович почти все время существования нашей газеты был членом Общественного совета.

А началось все ранней весной 92-го, когда я позвонил Булату Шалвовичу и попросил о встрече. Он согласился, назначил время. Вместе с тогдашним нашим спецкором Татьяной Глинкой мы, прежде чем направились к нему, немножко попутали на редакционной машине по переделкинским закоулкам. И, видимо, подползли. Потому что, когда подъехали к нужной калитке, Булат Шалвович уже стоял на крылечке маленького дома, ожидая гостей...

...Я не был мальчиком, когда впервые увидел Окуджаву не на сцене, не на собрании, а вот так — совсем рядом, ожидающего не кого-то, а тебя. За моими плечами уже был четвертьвековой журналистский стаж: встречался и с большими писателями, и с известными артистами, и с сильными мира сего. Но, помнится, никогда не испытывал того, что почувствовал, увидя за невысоким забором его. Просто ноги обмякли, в коленках дрожь. Позже признался в этом своему старому школьному другу, вместе с которым в шестидесятые годы гоняли старенькую "Ноту" с окуджавскими песнями и наизусть знали их не по хронологии написания, а в том порядке (я и сейчас помню его), в котором легли они на Бог уже знает кем и где записанную магнитофонную ленту. Всегда иронично относившийся к моему ремеслу друг посмотрел тогда на меня неодобрительно строго. "Да ты что, — сказал он. — У меня бы вообще ноги отнялись. Это же сам Окуджава". Мы редко встречаемся сейчас с моим школьным другом. Но когда умер Окуджава, он позвонил мне: "Надо увидеться"... Так что, как ни бойся высоких слов, но на самом деле — ушла целая эпоха. Такой уже больше не будет. Никогда... "Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем: у

Опустите, пожалуйста, синие шторы

На этой странице, посвященной памяти поэта, наверное, были бы очень уместны публицистические строки о том, кем он был в нашей поэзии, в нашей культуре, в нашей жизни, наконец. И поверьте, среди авторов и журналистов "Вечернего клуба" нашлись бы достойные перья, чтобы обо всем этом написать, как положено. Но нам подумалось, что будет правильнее поступить иначе: напечатать его рассказ — полшуточный, полусерьезный — о юношеском "приобщении к миру писателей" и выборку из его последних стихов, где тема ухода звучит во всей своей безжалостной неотвратимости.

Бог с ней, с публицистикой!

Давайте лучше прочитаем Булата Окуджаву еще раз.

Стихи последних лет

Если б можно было
тихо умереть:
без болячек, не сказав ни слова;
на леса и горы посмотреть,
удивиться жизни, и... готово.

х х х
Наша жизнь — это зал ожидания
от младенчества и до седин.
Сколько всяких наук
выживания,
а исход непременно один.

х х х
Смилуйся, быстрое Время,
бег свой жестокий уметь.
Не по плечу это бремя,
бремя тревог и потерь.

Будь милосердной и мягкой,
не окружай меня злом.
Вон уж и Лета маячит
прямо за ближним углом.

Плакать и каяться поздно.
Тропка на берег крута.
Там неприступно и грозно
райские смотрят врата.

Не пригодилась корона,
тщетно вышла пальба...
И на весле у Харона
замерли жизнь и судьба.

х х х
Вымирает мое поколение,
собралось у двери выходной.
То ли нету уже вдохновения,
то ли нету надежд. Ни одной.

х х х
Мгновенна нашей жизни
повесть,
такой короткий промежуток,
шажок, и мы уже не те...
Но совесть, совесть,
в любом отрезке наших суток,
хотя она и предрассудок,

должна храниться в чистоте.

За это, что ни говорите,
чтоб все сложилось
справедливо,
как суждено, от А до Я,
платите, милые, платите
без громких слов
и без надрыва,
по воле страстного порыва,
ни слез, ни сердца не тая.

х х х
Тянется жизни моей карнавал.
Счет подведен,
а он тянется, тянется.
Все совершилось,
чего и не ждал.
Что же достанется?

Что же останется?
Всякая жизнь на земле —
волшебство.
Болью земли своей
страдаем и мучимся,
а вот соседа любить своего
все не научимся.

Траты души не покрыть
серебром.

Все, что случается,
скоро кончается.
Зло, как и встарь,
верховодит добром...
Впору отчаяться,
впору отчаяться.

Всех и надежд-то
на малую горсть,
и потому, знать,
во тьме он и мечется,
гордый и горький,
и острый как гвоздь,
карий и страшущий
глаз человечества.

х х х
Весь в туманах житухи
вчерашней

все надеясь:
авось, как-нибудь —
вот и дожил
до утренних кашлей,
разрывающих разум
и грудь.

И, хрипя от проклятой
одышки,
поминая минувшую статью,
не берусь за серьезные
книжки:
все боюсь не успеть дочитать.

Добрый доктор,
соври на прощанье.
Видишь, как к твоей руке
приник?

Вдруг поверю в твои
обещанья
хоть на день, хоть на час,
хоть на миг.

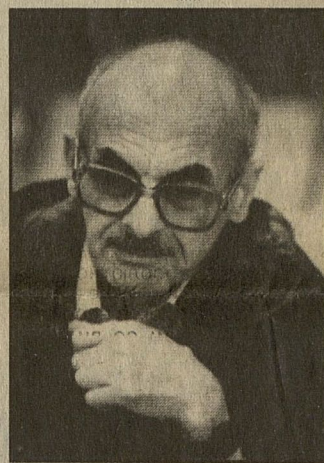
Раб ничтожный,
взыскующий града,
перед тем, как ладошки
сложить,
вдруг поверю,
что ложь твоя — правда
и еще суждено мне пожить.

х х х

Пора уже не огорчаться,
что в жизни предстоит
прощаться,
что скоро выпадет пора
обняться дружною семьею
мне с вами,
вам же всем — со мною,
пред тем, как сгинуть
со двора.

х х х
Ничего, что поздняя
поверка.
Все, что заработал, то твое.
Жалко лишь, что родина
померкла,
что бы там ни пели про нее.

Первое свидание



В 54-м году я жил в Калуге. Писывал стихи. Печатал их в местной газете. Мир московских писателей был мне неведом. Единственный столичный писатель, которого я знал весьма шатко, был Сергей Наровчатов.

Но он жил в ином мире, на другой планете. Тщеславие меня неведомо. Хотелось успеха, известности, а где было взять? В газете я получал тысячу сто рублей в месяц... Однажды, скопив немного денег, в конце весны кинулся я в Москву. Теперь трудно вспомнить, как я додумался идти к Наровчатову, но прилипли были заботы и не было сил что-либо изменить.

Он жил в коммунальной квартире на Волконском переулке в облупившемся старом здании, где я и застал его в тесной комнатке в полном оцепенении. Он сидел у давно немой окна, большой, грузный, обсыпанный пеплом от папирос, в прошлом пронзительный красавец, этакий обрюзгший римский патриций, загнанный в московский коммунал, страдающий от безденежья, от невозможности выпить, и мне захотелось его убаюкать, расстараться для такого поэта! А ведь он меня встретил с такой искренней радостью, будто мы были давними друзьями... Какая честь!

Большие, чуть поблекшие голубые глаза ребенка, и улыбка на мясистых губах, и самые располагающие интонации опустившегося барина:

— Ну хорошо, что ты, брат, прикатил!.. Футка ли, мы не виделись больше года... А у меня, понимаешь, ничего нет, фотбы отменить... Галя, понимаешь, ничего не оставила, черт побери!

Я радостно похлопал себя по карману и чтобы потрафить гению, бросился в ближайший гастроном. Там я купил поллитровку, немного колбаски и сыру и стремительно воротился.

Надвигались сумерки. Мы торопливо разгребли местечко на захлапленном столе и выпили. Наровчатов счастливо вздохнул. Засосал папироску. К еде не притронулся. Благоосклонно

смотрел, как я жевал. Вдруг сказал капризно:

— Ну, давай, давай же, брат, еще по одной...

Мы выпили еще.

— Спеть бы не надо, — сказал он, — но и затягивать глупо, — и опрокинул последние полстакана, и снова задыхался. Я же захмелел и поэтому торопливо закусывал. Бутылка была пуста.

— Знаешь, — сказал он, посылая себя пеплом, — не мефало бы добавлять.

— Давай! — откликнулся я с готовностью, еще пуще хмелея от сознания причастности к великому загадочному племени.

— Да, хорошо бы... — сказал он. — А у тебя есть деньги?

— Ну конечно! — сказал я с гордостью.

— Знаешь, а махнем-ка в клуб, пока нет Гали, а?

И мы, покачиваясь, покинули мрачный коммунал, подхватили такси и отправились на улицу Воровского.

— Со мной, — сказал Наровчатов дежурной у входа, и меня пропустили! Впервые!

В тесном рестораничке Дома литераторов перебивались голоса, клубился папиросный дым. У меня кружилась голова и даже не столько от выпитого, сколько от сознания причастности. Я хорошо различал лица, слова, я наслаждался, ощущал себя избранным, посвященным, удостоенным. Теперь на этом месте — бар, теперь это проходной коридор, это всего лишь предбанник бывшего ресторана. А тогда это было главное помещение. Пять-шесть столиков... За дальним из них я увидел Михаила Светлова! За соседним столиком справа — Семена Кирсанова. Слева, господи боже мой, сидел совсем еще юный Евтушенко в компании неизвестных счастливицев. Рядом с ним — совсем уж юная скульптурная красота с челочкой на лбу. Сидели те, чьи стихи залетали в калужские дали, о ком доносились отрывочные известия, слухи, сплетни. Сидели живые. Рядом. Можно было прикоснуться!

Наровчатов заказал поллитра и какую-то еду. Теперь уже было все равно, что заказано.

— Я предложил на правлении соорудить здесь камин, — послышался голос Кирсанова. — Представляешь? Громадный камин, в котором можно захарить целого оленя!

— Пра-вля-ни-е... — с благоговением подумал я.

— Послушай, — сказал Евтушенко кому-то из своих, — у меня четырнадцать тысяч... Давай сейчас махнем в Тбилиси, а?

— Че-тыр-над-цать ты-сяч! — поразился я. — Четырнадцать тысяч!

Эта сумма казалась мне недостижимой. "Четырнадцать тысяч!" — подумал я, трезвея.

Наровчатов тем временем подпывал очередной стопкой. И

непрерывно курил. Он начал было читать мне свои стихи, но сбился и снова потянулся к бутылке.

— Чего же ты, брат, не пьешь!

— спросил он с усилием.

— Я пью, — пролепетал я, пытаясь осознать осязающееся на меня внезапно: как, должно быть, замечательно, имея четырнадцать тысяч, махнуть в Сухуми и через два часа сидеть уже у моря, а после — в Тбилиси, а после — во Львов, к примеру, и снова в Москву и вальсировать сюда в дом на Воровского...

— На По-вар-ской, — по складам произнес Наровчатов.

Тут к нам, за наш столик, подошел какой-то писатель со своим фуajerом и бутербродом на блюде.

— Привет, Серега, — сказал он.

— Ах, здравствуй, здравствуй, — выдал Наровчатов.

Писатель отлебузил из фуajerа, пожевал бутерброд, ткнул в меня пальцем и спросил без интереса:

— А это кто?

— Это Булат... — пробубнил Наровчатов, стараясь не выронить из слов ни единой буквы, — мой друг и поэт...

— Булат-мулат, — усмехнулся писатель, — что-то много развелось нынче этих мулатов, а Серега? Ты не находишь?..

— Заткнись! — взвизгнул Наровчатов. — У него отца в тридцать седьмом расстреляли!

— Туда и дорога, — засмеялся писатель.

Я потянулся за вилкой, чтобы проучить обидчика, но руки не слушались. И тогда я заплакал.

В этот момент широкая мясистая ладонь Наровчатова хлестнула по розовой щеке писателя. Кто-то крикнул. Крик подхватили. Дым закружил над головами. Официантка, широко улыбаясь, пробежала с подносом. Затем все улеглось. Полюбили прежние монологи за соседними столиками. Только там сидели уже другие писатели.

Там же по-прежнему сидели вдвоем: я и спящий Наровчатов. Как мы расшатались, я не помнил и как выволакивал грузного незнакомца поэта — не помнил, но я его выволок. Сейчас мне кажется, что я его просто нес на руках, как дитя, хотя он был в три раза тяжелее меня. Удалось поймать такси, и мы поехали на Волконский.

Дорожная Галя безразлично оглядела меня и спросила:

— А вы кто?

— Я друг... — кажется, так пролепетал я.

— Настоящие друзья с ним не пьют, — сказала она с отвращением.

Я шел по поздней Москве и повторял с ужасом и восхищением: "Четырнадцать тысяч!.. Четырнадцать тысяч!.."

Прошло много лет. Сорок! Многому научился. Тогда я плакал — теперь смеюсь.

Песня — ты вдова

Принесли слова
из Парижа боль.
Песня — ты вдова.
Умер твой Король

И погас огонь.
И закончил бег,
как буланый конь,
наш Булатный век.

Сразу смолкла спесь
шоугуляров.
Без Булата песнь —
музыка без слов.

Как слагал он Сам,
сложит кто едва.

За него всем нам
подбирать слова.

За его грехи,
за святой надрыв
положи стихи
на его мотив.

Строчка к строчке. Хор.
Жизни нет конца.
Но пока что скорбь
получается.

Вся Держава, пой
этот грустный марш!
Окуджава — мой.
Окуджава — наш.

Окуджава, пой!
Пусть пропущен ток
по колючей той
провошке строк.

В горестной росе
пусть глаза вокруг,
мы возьмемся все
за руки, наш друг,

и светло скорбя,
как венок-сонет,
оградим тебя
от забвенья лет.

Николай ЗИНОВЬЕВ,
июнь 1997 г.